### XVIII. Рассвет

### Уильям Сомерсет Моэм

Еще ночь, и двор гостиницы исчерчен сгустками глубокого мрака. Фонари бросают неверный свет на кули, которые готовят свой груз в путь. Они кричат, хохочут, сердито спорят и затевают шумные ссоры. Я выхожу на улицу и иду следом за боем с фонарем. То тут, то там позади закрытых дверей поют петухи. Однако многие лавки уже распахнули ставни, и неутомимые люди приступают к своим долгим дневным трудам. Тут подмастерье подметает пол, там мужчина моет лицо и руки. Фитилек, горящий в чашке с растопленным жиром, — вот и все его освещение. Я прохожу мимо харчевни, где полдесятка человек уже сидят за ранним завтраком. Внутренние ворота заперты, но сторож выпускает меня через калитку, и я иду вдоль стены по берегу медлительного ручья, в котором отражаются яркие звезды. Затем я подхожу к главным городским воротам и вижу, что одна створка уже открыта. Я выхожу наружу, и меня со всех сторон встречает призрачный рассвет. Впереди меня ждут день, и длинный путь, и широкие просторы.

Погас фонарь. Позади меня тьма растворяется в лиловый туман, и я знаю, что вскоре она вся порозовеет. Я различаю насыпную дорогу, а вода рисовых полей отражает бледный сумрачный свет. Уже не ночь, но еще и не день. Это мгновение неизреченной красоты, когда и холмы, и долины, и деревья, и вода укрывают неземные тайны. Ведь когда поднимается солнце, на какой-то срок мир вокруг безрадостен, свет холоден и сер, точно свет в студии художника, и тени еще не пеленают землю в пестрые пеленки. Огибая вершину лесистого холма, я гляжу вниз, на рисовые поля. Впрочем, «поля» тут слишком величественное слово. По большей части это лоскутки, полумесяцами врезанные в склон один над другим, чтобы их можно было затоплять. В лощинах растут ели и бамбук, точно посаженные там искусным садовником, который упорядочивает красоту, чтобы церемонно воспроизвести приволье природы. А в эти колдовские мгновения вы видите не плоды смиренного труда, но любимые сады императора. Сюда, сбросив бремя государственных забот, приходит он в желтых шелках, расшитых драконами, с драгоценными браслетами на запястьях, чтобы позабавиться с наложницей до того красивой, что в последующие века люди находят только естественным, что из-за нее погибла династия.

И вот уже, встречая разгорающийся день, с рисовых полей поднимаются туманы и до половины закрывают пологие холмы. То, что вы видите, могло представать перед вами в сотнях картин, так как старые китайские мастера до чрезвычайности любили изображать подобное. Небольшие холмы — до вершин поросшие лесом с четким силуэтом зубчатых елей по гребню на фоне неба, — небольшие холмы громоздятся один над другим, и туманы на розовой высоте слагаются в узор, придают композиции завершенность, которая, однако, оставляет простор для воображения. Бамбук растет почти от самой дороги, его узкие листья трепещут в легчайшем ветерке; он полон такого аристократического изящества, что рощица кажется придворными дамами великой Минской династии, которые томными группами отдыхают возле дороги. Они посетили какой-то храм, их платья богато расшиты цветами, а в прически вплетены бесценные нефритовые украшения. Они отдыхают, стоя на маленьких ножках, на своих золоченых лилиях, обмениваясь остроумными замечаниями: им ли не знать, что высшее достижение культуры — это умение болтать вздор с неподражаемым достоинством. Еще минута, они рассядутся по своим паланкинам и исчезнут. Но дорога поворачивает, и — Бог мой! — бамбук, китайский бамбук волшебством тумана преображается в кентские хмельники. Помните душистые хмельники, сочные зеленые луга, железнодорожное полотно, которое тянется вдоль моря, вдоль сверкающего пляжа и унылой серости Ла-Манша? Над зимним холодом летит чайка, и тоска в ее крике почти невыносима.